

РОБЕРТ Л. ГИЛБЕРТ



Томас Тредд.
Время убивать

КНИГА 2

Роберт Л. Гилберт
Томас Тредд. Время убивать

«Автор»

2026

Гилберт Р.

Томас Тредд. Время убивать / Р. Гилберт — «Автор», 2026

«Прогресс — это лишь новый способ упаковать старые грехи». Наступает XX век. Лондон Сент-Эндрюс-Хилл больше не кутается в уютный туман — он опутан медными нервами телефонных проводов и задыхается в дыму заводов. Но чем быстрее движется мир, тем изощреннее становится человеческая ненависть. Старому часовому мастеру Томасу Тредду снова приходится браться за инструменты, ведь теперь яд и смерть прячутся в самых ярких достижениях цивилизации. Телефонные трубки, шепчущие голосами мертвецов и убивающие электрическим разрядом; изящные корсеты, впрыскивающие сыворотку покорности при каждом глубоком вдохе; и карманные часы, заряженные смертоносным радиом, который выжигает сердце прямо сквозь ткань жилета. Сталь обрела память, а ложь теперь перемещается со скоростью искры. В преддверии великой мировой катастрофы 1914 года Томасу Тредду предстоит принять свой последний бой и доказать: самый сложный механизм — это человеческая совесть, и у неё нет запасных деталей.

© Гилберт Р., 2026

© Автор, 2026

Роберт Л. Гилберт

Томас Тредд. Время убивать

Глава 1: Стеклянная искра

«Прогресс — это лишь новый способ упаковать старые грехи».

Лондон, Сент-Эндрюс-Хилл, 14. 1900–1914 гг.

Январь 1900 года пах не углем, а озоном. Лондон больше не кутался в уютный туман — он задыхался в сизом дыму заводов, а по его венам-улицам вместо конского навоза потекло холодное электричество. В лавке Томаса Тредда масляная лампа всё еще спорила с уличным фонарем, который шипел снаружи, как придавленная змея. Дверной колокольчик звякнул не всхлипом, а резким, металлическим дребезгом. В лавку вошел человек, чей облик был скроен по лекалам нового века: безупречный котелок, жесткий воротничок и трость с набалдашником из тусклого алюминия — металла, который теперь ценился дороже серебра.

— Мистер Тредд? — голос гостя резал тишину лавки, как скальпель. — Меня прислали из Адмиралтейства. Но я здесь неофициально. Мой отец... он сходит с ума. Он утверждает, что его убивает свет. На прилавок лег странный предмет. Это была ранняя лампа накаливания: хрупкая стеклянная груша с угольной нитью внутри. Но вместо обычного латунного цоколя у неё была сложная подставка с часовым механизмом в основании.

— Он не может спать, — продолжал гость, и в его глазах блеснул холодный расчет. — Каждую ночь, ровно в три часа, лампа вспыхивает сама собой. Врачи говорят о галлюцинациях. Но вчера на его руке появился ожог в форме идеального круга. Томас не коснулся стекла. Он надел очки с тройными линзами и поднес к лампе магнит. Угольная нить внутри даже не дрогнула.

— Свет не умеет ненавидеть, сэр, — проскрипел старик, и его голос был суше, чем пергамент. — Но те, кто его обуздал, научились вплетать в него гнев. Томас взял тончайшую стальную спицу и коснулся механизма в основании. Тот отозвался сухим, надменным тиканьем. Старик ввел спицу в крошечное отверстие, где медь соприкасалась со стеклом.

— Видите это? — Томас указал на едва заметное напыление на внутренней стороне колбы. — Это не копоть. Это порошок бертолетовой соли, смешанный с магнием. Он повернул лампу на свет.

— Вашему отцу не кажется, сэр. В основании спрятан реле-таймер. Ровно в три часа, когда ток достигает пика, механизм замыкает цепь. Но не для того, чтобы зажечь свет. Нить накаливания здесь — лишь детонатор. Томас аккуратно отвинтил стеклянную колбу. В его руках осталась медная игла, скрытая в патроне.

— При нагреве расширяется не только газ. Это устройство — термический шприц. Тот, кто подарил вашему отцу эту лампу «прогресса», знал: в три часа ночи старик всегда кладет руку на тумбочку рядом с кроватью. Лампа выбрасывает струю раскаленного фосфора. Ожог — лишь начало. С каждым разом доза яда, впитывающегося через кожу, становится больше. Гость побледнел, и его алюминиевый набалдашник глухо стукнул о прилавок.

— Кто... кто мог это сконструировать?

Томас посмотрел на гостя сквозь три слоя линз. Его взгляд был безжалостен, как шестеренка.

— Тот, кто слишком торопит наследство, сэр. Механизм заведен на тридцать дней. Сегодня — двадцать девятый. Еще одна ночь, и сердце вашего отца остановилось бы от «естественного» паралича, вызванного избытком фосфора в крови. Старик вернул лампу гостю.

— Заберите это. Электричество — это чистая сила, но в грязных руках оно лжет громче, чем любая свеча. Когда дверь закрылась, Томас долго смотрел на свои руки. На них остались

следы новой эпохи — серая пыль и запах горелого металла. Он подошел к своим старым напольным часам и завел их.

— Поторопись, старый друг, — прошептал он маятнику. — Мир стал быстрее, а ложь теперь перемещается со скоростью искры. Нам придется учиться слушать тишину в грохоте машин.

Вещь: Прогресс — это лишь новый способ упаковать старые грехи. В мире Томаса даже самая яркая лампа может скрывать самую черную тень, если её механизм заведен рукой предателя.

Глава 2: Медный шёпот

Лондон в октябре пах мокрой известью и переменами. Старый город ломали: на месте кирпичных тупиков вырастали скелеты новых зданий, опутанные медными нервами телефонных проводов. В лавке Томаса Тредда тиканье часов теперь перебивалось далёким, назойливым дребезжанием трамваев. Дверной колокольчик звякнул сухо. Вошёл человек, чьё лицо казалось высеченным из серого гранита. На нём был строгий сюртук, но под ногтями чернела техническая смазка. Он положил на прилавок предмет, завернутый в промасленную бумагу.

— Мистер Тредд, — голос гостя был низким, будто доносился из-под земли. — Я из Центрального телеграфного узла. Меня зовут Эдгар Смит. Томас кивнул, не касаясь свёртка. Гость развернул бумагу. На сукне лежала телефонная трубка из тяжёлого чёрного эбонита, но её форма была странной — раструб слишком широк, шнур слишком толст.

— ЧП, — продолжил Смит, понизив голос. — Сэр Генри Лэнсберри, заместитель министра путей сообщения. Застрелился в своём кабинете три дня назад. Томас поднял седую бровь.

— Печально. Но я не коронер. Мёртвых джентльменов не чиню.

— В том-то и дело, — Смит наклонился вперёд. — Сэр Генри был жизнелюбом. Застрелился ровно в тот момент, когда разговаривал по этому аппарату. Его секретарь слышал через дверь крик: «Уйди, мертвец!». Но в кабинете никого не было. Полиция списала всё на временное помрачение — мол, работал на износ. Но я... — он запнулся, — я разбирал линию. И нашёл кое-что.

Томас медленно надел перчатки из тонкой замши. Он взял трубку, ощутив неожиданную тяжесть. Обычная телефонная мембрана должна была быть лёгкой. Эта — нет. Он осторожно развинтил слуховой капсюль отвёрткой с алмазным наконечником. Внутри, под тонкой стальной диафрагмой, скрывалось нечто инородное: крошечная катушка с намотанной на неё нитью металлического блеска, похожей на волос, но слишком правильной, машинной формы.

— Телефон — великая ложь нового века, — проскрипел старик, поворачивая катушку к свету. — Он заставляет верить, что человек рядом, когда он за милю. Но этот аппарат лгал дважды. Томас достал из ящика магнитный камертон. Он ударил по нему и поднёс к открытой мембране.

Вместо чистого звука из трубки вырвался хриплый, искажённый голос, повторяющий на высокой, неестественной частоте:

— Пора платить... пора платить... Голос был знакомым — Тредд видел портрет покойного брата сэра Генри в газетах. Тот погиб в Африке год назад.

Смит побледнел, отступив на шаг.

— Это... это же голос Альфреда Лэнсберри. Но как...

— Записывающее устройство системы Паульсена, — перебил Тредд, не отрывая взгляда от механизма. — Телеграфон. Кто-то записал голос человека, которого сэр Генри боялся больше всего. Брата, которому он был должен состояние. Старик взял увеличительное стекло.

— Но посмотрите на иглу. Она из мягкого свинца. Установлена так, что с каждым словом вибрирует всё сильнее.

Томас указал на микроскопический контакт в основании катушки.

— Голос — лишь приманка. Настоящее оружие здесь. При пике напряжения, когда «призрак» кричал громче всего, игла замыкала цепь на корпус трубки. Аппарат выдавал кратковременный, но мощный электрический разряд прямо в висок. — Он убил его током? — выдохнул Смит.

— Нет. Разряд был рассчитан тоньше. Он не убивал — он вызывал мгновенный паралич и вспышку боли, которую измученный мозг сэра Генри принял за нападение демона. Он выхватил пистолет, чтобы защититься от того, кто шептал ему в ухо. И выстрелил в собственный страх.

Томас аккуратно извлёк катушку и положил её на бархатную подушку.

— Спецслужбы уже учатся использовать электричество как пытку, мистер Смит. Они не стали убивать его сами — они заставили его убить себя. Чисто, анонимно, без следов. Гость молчал, глядя на разобранную трубку как на разорённую могилу. — Кто мог... кто мог это сделать?

— Тот, кому смерть сэра Генри открывала путь к контрактам на строительство железных дорог, — Тредд завернул трубку обратно в бумагу. — Или тот, кто хотел закрыть ему рот навсегда. В новом веке для убийства больше не нужен кинжал. Достаточно знать частоту чужого кошмара и иметь доступ к телефонной линии. Когда Смит ушёл, Томас подошёл к окну. За стеклом, в вечерних сумерках, бесконечные ряды столбов с проводами разрезали небо Лондона, словно ноты на гигантском нотоносце.

— Скоро, — прошептал он, — мир будет опутан нитями лжи. И каждый сможет шептать яд прямо в самое сердце другому, оставаясь невидимым. Раньше врагу нужно было смотреть в глаза. Теперь ему достаточно знать номер вашего телефона.

Вещь: Прогресс дал нам уши, чтобы слышать тех, кто далеко, но отнял умение слушать тех, кто рядом. В мире Томаса Тредда даже голос из стены может быть механическим палачом, если за рычаги дёргает тот, кто знает мелодию вашего страха.

Глава 3: Стеклоанная слепота

Июнь 1901 года выдался невыносимо ярким. Солнце, ещё не затянутое смогом новых электростанций, било в окна лавки Тредда острыми, как лезвия, лучами. Сам воздух казался натянутой струной, готовой лопнуть от жары и тишины — той особой, давящей тишины, что воцаряется в городе, когда его покидает королева, даже если её давно нет в живых. Вошла она без стука, словно призрак. Женщина в чёрном, от дорогого крепа до перчаток, но траур на ней казался свежим, острым, а не привычным, как на вдовах, оплакивавших Викторию. Она не плакала. Она была суха, как перегоревшая электропроводка.

— Мистер Тредд, — её голос был ровным, без дрожи. Именно это и насторожило старика. Настоящее горе всегда дрожит. — Меня зовут Элеонора Вейн. Мой муж, сэр Филипп, картограф Адмиралтейства. Он... шагнул с белых скал в Дувре неделю назад. Говорил, что мир погрузился во тьму. Но день был ясен, мистер Тредд. Слепяще ясен.

Она положила на прилавок футляр из красного дерева. Внутри, на бархате, покоились очки. Не пенсне, не лорнет, а именно очки — изящные, в золотой оправе с тончайшей насечкой. Линзы были необычного, глубокого дымчатого оттенка. — Его новые очки, — сказала леди Вейн. — Подарок от комиссии по оптическому переоснащению флота. Он начал носить их за месяц до... Он говорил, что видит тени. Что солнце «меняет цвет». Потом что свет «гаснет» на несколько секунд. Врачи говорили о перенапряжении глаз, о нервном истощении. А потом он просто перестал видеть. Совсем. Тредд не взял очки. Он обвёл лавку взглядом, будто ища что-то. Потом медленно подошёл к стеллажу и снял с полки старый, потемневший от времени спектроскоп — прибор, разлагающий свет на цвета радуги.

— Свет, леди Вейн, — проскрипел он, направляя узкий луч карбидной лампы не на очки, а рядом с ними, на белую бумагу, — это единственный свидетель, который не умеет подку-

пать. Но мы научились ставить ему преграды. Он надел свои рабочие очки с тройными линзами и лишь тогда взял золотую оправу. Не для того, чтобы надеть. Он поднёс её к спектро스코пу. Чистая радуга, отражённая от белой бумаги, была яркой и ясной. Затем Тредд аккуратно поместил дымчатую линзу на пути луча. Радуга не просто потускнела. Она исказилась. Вместо чистых полос спектра зазмеились грязные, размытые пятна. А в сине-фиолетовой части, невидимой обычному глазу, где начинался ультрафиолет, возникла странная, пульсирующая тень.

— Видите? — спросил Тредд, хотя был уверен, что она не видит. — Это не просто тонированные стёкла. Это фильтр. Но фильтр не от света. От правды. Он взял тончайший алмазный резец и, поднеся линзу к мощной лупе, сделал крошечный скол на самом краю. Затем капнул туда каплю азотной кислоты. Стекло не прошипело, как должно было. Вместо этого по его поверхности поползли маслянистые, радужные разводы, словно бензин на воде.

— «Сэндвич», — сказал Тредд с леденящим спокойствием. — Два слоя оптического стекла, а между ними — тончайшая плёнка нитроцеллюлозы. Пропитанная солями серебра и йода. Состав, очень похожий на эмульсию фотопластинок «Кодак». Только здесь он работает иначе. Леди Вейн молчала, её лицо было маской.

— Ваш муж подолгу работал с картами при ярком свете, — продолжал Тредд. — Особенно при солнечном, где много ультрафиолета. Под его воздействием эта плёнка внутри линз начинала медленно, необратимо темнеть. Процесс был рассчитан на месяц-полтора. Сначала — лёгкие тени, «мерцание». Потом — серость. В конце — полная, непроглядная чернота. Его мир не «погружался во тьму». Его мир методично выключали, как газовый рожок. Но старик не закончил. Он взял небольшой молоточек и, положив линзу на мягкую кожу, легонько, с хирургической точностью, ударил по самому центру. Стекло треснуло не как обычное — оно расслоилось. И в самом его сердцевине обнаружилась крошечная, идеально круглая зона абсолютной прозрачности.

— А это... это уже не подлость, — голос Тредда стал тише и страшнее. — Это садизм. Эта прозрачная точка — ловушка. Она заставляет зрачок расширяться до предела, пытаясь поймать последние крупинцы света. И в этот момент химическая реакция в затемнённой части линзы достигает пика, выбрасывая микроскопические, но едкие пары йода прямо на слизистую. Ваш муж ослеп не просто от темноты, леди Вейн. Он ослеп от чудовищной, жгучей боли. Его мозг, атакованный химическим ожогом и абсолютной чернотой, не выдержал. Он не шагнул в пропасть. Он побежал от кошмара, который носил на переносице. В лавке воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем часов. Леди Вейн медленно выпрямилась. В её глазах не было слёз. Там был холодный, отточенный, как бритва, гнев.

— Кто, мистер Тредд?

— Тот, кому нужны были фарватеры, которые знал только сэр Филипп. Или тот, кому нужно было место главного картографа. Или просто тот, кто получил заказ «нейтрализовать» специалиста, — Тредд собрал осколки линз на латунный поднос. — Век информации начинается, сударыня. И первое, что в нём станут красть, — это не бумаги, а зрение тех, кто эти бумаги читает. Скоро люди будут видеть только то, что им позволят видеть те, кто владеет стеклом и реактивами.

Когда она ушла, унося в дешевом саквояже осколки и страшную уверенность, Тредд долго смотрел на солнечный луч, упёршийся в его верстак. Он поднял руку, заслонился ладонью. Свет окрасил её в тёплый, живой цвет. — Настаёт век управляемой слепоты, — прошептал он в пустующую лавку. — Где солнце будет гаснуть по расписанию, составленному в чужих кабинетах. И первыми ослепнут те, кто видит слишком много.

Вещь: Очки созданы, чтобы помогать зрению, но в плохих руках они становятся шорами, которые не просто ограничивают обзор, а методично гасят мир перед глазами. В мире Томаса Тредда даже чистый свет можно превратить в орудие тьмы, если между глазом и истиной вставить слой лжи, замешанной на серебре и страхе.

Глава 4: Искры памяти

Ноябрь 1901 года принёс в Лондон не мороз, а рыжую, промозглую сырость, впитывавшуюся в кирпич и в кости. Город будто затаился, прислушиваясь к гулу с континента — отзвукам войн и революций, которые ещё не добрались сюда, но чей шепот уже висел в воздухе, как запах далёкого пожара. В такую погоду разум особенно цеплялся за тёплое, за привычное, за то, что можно контролировать. Сэр Ричард Элмонд, чьё состояние было построено на торговле чаем и добром имени, теперь боролся за контроль над последним, что у него оставалось — над собственной памятью. Он вошёл в лавку не как аристократ, а как испуганный ребёнок, прижимающий к груди не игрушку, а лампу. Это была настольная электрическая лампа новейшего образца: массивное бронзовое основание в виде грифона, держащего в когтях матовый шар из опалового стекла. Свет от неё был мягким, рассеянным, уютным — идеальным для чтения мемуаров, которые сэр Ричард писал уже третий год. — Она крадет мои мысли, Томас, — старый джентльмен говорил шёпотом, будто боялся, что лампа услышит. — Я сажусь писать под её светом, и буквы начинают плясать. Я забываю, о чём только что думал. Вчера я не мог вспомнить имя собственной матери. Врачи говорят о склерозе, о возрасте... Но я чувствую. Она ждёт, когда я замолчу навсегда. Томас Тредд не стал включать лампу в сеть. Он обошёл её кругом, как хищник, изучающий ловушку. Затем надел перчатки из шёлковой проволоки и прикоснулся тыльной стороной ладони к стеклянному абажуру. Кожа под перчаткой заныла тупым, неприятным зудом, будто от близости к чему-то вибрирующему, чего ухо не слышит.

— Свет должен освещать путь, сэр Ричард, — проскрипел старик. — Но некоторые научились использовать его, чтобы прокладывать тропинки... прямо в человеческий разум. Он взял с полки чувствительный электроскоп — прибор с тонкой золотой стрелкой в стеклянном колпаке, реагирующий на малейшие электрические заряды. Не включая лампу, он поднёс прибор к её основанию. Стрелка дёрнулась, замерла на мгновение, а затем начала медленно, неуклонно отклоняться, хотя в сети не было тока.

— Она живёт своей жизнью, — заключил Тредд. Он аккуратно открутил абажур. Под матовым стеклом открылась не обычная лампа накаливания, а сложная конструкция: колба, окружённая не проволокой накаливания, а сеткой из тончайших чёрных нитей, образующих сложный, почти фрактальный узор.

— Газоразрядная сетка системы Хьюитта, — проскрипел Тредд, поднося к ней сильный магнит. Нитки не шелохнулись, но внутри стекла что-то едва заметно дрогнуло, и по лавке пробежал запах озона и... перегретого металла. — Но не для освещения. Для излучения. Он указал сэру Ричарду на основание грифона, где под декоративной бляхой скрывалась миниатюрная катушка индуктивности. — Ваш племянник, кажется, увлекается беспроводным телеграфом и опытами Теслы? Он подарил вам эту лампу, сказав, что это «символ прогресса и заботы»? Сэр Ричард кивнул, его лицо стало землистым.

— Гарольд... Он в долгах. Я отказался платить в последний раз. Сказал, что упомяну об этом в мемуарах, если он не исправится.

— Тогда он решил исправить не себя, а вашу память, — безжалостно констатировал Тредд. — Эта лампа — не источник света. Это генератор слабого, но направленного пульсирующего магнитного поля. Катушка здесь создаёт его. А эта сетка, — он ткнул пальцем в чёрный узор, — фокусирует и модулирует. Старик взял старый камертон и ударил по нему. Чистый звук заполнил лавку. Затем он включил лампу. Звук камертона не изменился. Но Тредд видел другое: он поднёс к абажуру тонкий листок станиоли. Фольга не шелохнулась от звука, но начала едва заметно вибрировать в такт с еле слышным жужжанием самой лампы. — Поле настроено на частоту, подавляющую активность гиппокампа — области мозга, ответственной за формирование краткосрочных воспоминаний и их перевод в долгосрочные, — пояснил Тредд, выключая адскую конструкцию. — Вы не теряете память, сэр Ричард. Вам её

методично стирают каждый вечер. Вы сидите и пытаетесь запечатлеть прошлое, а этот «символ прогресса» за вашей спиной тихо, беззвучно, стирает настоящее. К тому времени, как вы закончите свои мемуары, в них не останется ни одного упоминания о его долгах, о его подлости. Останется лишь благостный портрет любящего племянника и пустые, ничем не подкреплённые страницы. Это не склероз. Это целенаправленная, технологичная амнезия, упакованная в бронзу и стекло. Сэр Ричард Элмонд медленно опустился на стул. В его глазах не было страха. Там был холодный, стальной ужас понимания: война за его наследие шла не в судах и не в кабинетах, а в самой ткани его сознания, и враг атаковал не кошелёк, а саму его личность. Когда он ушёл, унося под мышкой разобранный патрон лампы как трофей в тихой войне, Томас Тредд долго стоял у окна. На улице зажигались фонари. Газовые — тёплые, живые, неровные. И новые, электрические — холодные, безжалостные, одинаково яркие.

— Скоро, — прошептал он в стекло, запотевшее от его дыхания, — мы будем жить в городах, залитых светом, который не освещает, а ослепляет. Где каждый фонарь будет не прогонять тьму, а диктовать, что помнить, а что забыть. Мы вступаем в век, где истина будет умирать не в темноте, а под ярким, стерильным лучом, способным стереть самоё себя из человеческой головы. Он погасил свою старую, добрую масляную лампу. В наступившей мгlistой темноте лавки остались жить только мерные, не подвластные никаким полям удары маятника. Память из металла и дерева, которая не знала, что такое забвение.

Вещь: Лампа была создана, чтобы разгонять тьму, но в мире Томаса Тредда она стала инструментом для создания тьмы внутренней — тихой, методичной пустоты в сознании. Прогресс подарил нам власть над фотонами, но в первую очередь научил подлость использовать этот свет, чтобы выжигать не картины на стенах, а воспоминания в душах.

Глава 5: Механический пульс

Август 1902 года пришёл в Лондон не как гость, а как оккупант. Воздух не просто стоял — он лежал тяжёлым, маслянистым одеялом, пропитанным гарью первых бензиновых моторов и вонью перегретого асфальта. В таких условиях даже время казалось больным: маятники в лавке Тредда двигались с ленивой, влажной неохотой, словно преодолевая сопротивление невидимого сиропы.

В такую погоду приходят только с самой неотложной бедой. Человек, который ввалился в лавку, был воплощением такой беды. Мистер Эдгар Финч, наследник состояния лорда-мэра, был облачён в дорогой, но измявшийся за одну ночь костюм. Его лицо цвета перезревшей сливы блестело от пота, а пальцы судорожно сжимали сафьяновый футляр.

— Он гонит меня, Тредд, — выдохнул Финч, с трудом переводя дух. — Прямо в могилу. На прилавок, проскрипев по сукну, лёг массивный золотой брегет с двойной крышкой — часы, которые могли бы служить эталоном состоятельности и безупречного вкуса. — Отец завещал мне их. Я носил с гордостью. Но теперь... — он судорожно глотнул воздух, прижимая ладонь к груди. — Врачи говорят — аритмия, нервное сердце. Но приступы начинаются только когда часы на мне. Надел — через час пульс частит, как у загнанной лисы. Снимаю — становится легче. В мастерской на Бонд-стрит клянутся, что механизм безупречен. Но я чувствую, как он спешит. Спешит за моим последним вздохом. Томас Тредд не стал открывать крышку. Он положил часы на чёрный бархат диагностического столика и поднёс к корпусу не лупу, а старый медицинский фонендоскоп, приспособленный им для прослушивания сейфовых замков. Он приложил мембрану к задней крышке. Вместо чёткого, металлического тиканья из наушников донёлся странный, вибрирующий гул — будто внутри билось не одно, а два сердца, и одно из них бешено догоняло другое.

— Сердце — это тоже механизм, мистер Финч, — проскрипел старик, снимая наушники. — Самый сложный из известных. И самый уязвимый для внушения. Затем он достал из ящика

не магнит, а маленький магнитный компас в латунной оправе. Стрелка спокойно указывала на север. Тредд поднёс компас к часам. Стрелка дрогнула, качнулась и застыла, упрямо указывая не на север, а прямо на золотой корпус.

— Железо, — пробормотал Тредд. — Но не там, где ему положено быть. Тонким, как волос, медным пинцетом он аккуратно открыл заднюю крышку. Механизм сверкнул в тусклом свете лавки — мосты из позолоченной латуни, рубиновые камни, синяя сталь пружин. Безупречно. Но Тредд не смотрел на шестерни. Его взгляд притянул балансир — маленькое колёсико, мерно качающееся туда-сюда, отсчитывающее доли секунды. На его ободе, в самом золоте, виднелась крошечная, едва заметная вставка сероватого металла.

— Селенид висмута, — произнёс Тредд, словно ставя диагноз. — Сплавленный с магнитным железняком. Совершенно ненужный в балансе часов. Если только... Он взял со стола новинку сезона — карманный электрический фонарик. Направил его яркий, сфокусированный луч прямо на открытый механизм, на балансир. И часы сошли с ума. Балансир, едва освещённый, превратился в размытое, дрожащее пятно. Тиканье, доносившееся из корпуса, участилось, слилось в пронзительный, почти пулемётный треск. Часы перестали отмерять время — они его гонили, с бешеной, нечеловеческой скоростью.

— Фотоэлектрическая ловушка, — прокрипел Тредд, тут же выключая фонарь. — Гениально просто. Ваш отец, мистер Финч, был консерватором. Любил полумрак библиотек, кабинетов, клубов. При слабом свете этот сплав инертен. Но вы — человек нового века. Вы бываете на скачках, на открытых приёмах, в светских салонах, залитых электрическим светом. Яркий свет — спусковой крючок. Часы постепенно успокоились, их бег вернулся к норме. Тредд пинцетом извлек крошечный балансир и положил его на ладонь клиента. — Под ярким светом сплав вступает в реакцию с магнитным полем самого корпуса часов. Возникает микро-ток, ускоряющий ход в десятки раз. Ваша рука не чувствует этой дрожи. Но ваша нервная система — чувствует. Ваше подсознание считывает этот безумный, невидимый ритм. И ваше сердце, этот совершенный биологический метроном, начинает подстраиваться под него. Это не отравление, мистер Финч. Это — резонанс. Вас пытались «разогнать» до инфаркта, используя вашу же собственную биологию против вас. Тот, кто доработал эти часы, знал: законы физики — куда надёжнее яда. Они не оставляют следов в желудке, только в протоколе вскрытия — «острая сердечная недостаточность».

Мистер Финч молчал. Он смотрел на крошечную деталь в своей ладони, которая должна была стать орудием его убийства. В его глазах отражался не страх, а холодное, бездонное отращение — к миру, где даже память об отце можно превратить в смертельный механизм. — Кто? — спросил он одним словом.

— Тот, кто больше всех интересовался, когда вы наконец наденете эти «фамильные часы». Ваш двоюродный брат? Деловой партнер, чья доля станет вашей? — Тредд взял балансир и бросил его в ящик с металлоломом, где тот звякнул, как павший солдат. — В новом веке для наследства не нужен кинжал в спину. Достаточно знать, что наследник любит быструю езду и яркий свет. Когда Эдгар Финч ушёл, унося исправленные, «усыпленные» часы, Томас Тредд вышел на задний дворик лавки. Солнце, пробивавшееся сквозь лондонскую мглу, било в лицо. Он поднял руку, посмотрел, как свет играет на морщинистой коже, на синих прожилках, под которыми тикало его собственное, старое сердце.

— Скоро, — прошептал он раскалённому воздуху, — мы все станем деталями в одном гигантском механизме. Нас будут ускорять или замедлять по желанию тех, кто владеет не деньгами или властью, а знанием. Знанием о том, как свет танцует с металлом, и как эта танцующая тень может заставить танцевать до смерти человеческое сердце. Он вернулся в лавку, в свой сумрак, где единственным светом было пламя горелки Бунзена и холодное сияние разобранных механизмов. Где время текло с правильной, честной, неспешной скоростью.

Вещь: Часы созданы, чтобы указывать порядок, но в руках зла они превращаются в дирижёра хаоса, способного настроить самый нерушимый ритм — ритм жизни — на безумный, смертельный темп. В мире Томаса Тредда даже время может стать ядом, если его истинный ход подменён тиканьем, продиктованным чужой жадностью и знанием законов физики, которые не прощают ошибок.

Глава 6: Стальной пульс

Июнь 1903 года принёс в Лондон не лето, а лихорадку. Город гудел треском автомобильных моторов по Пикадилли, пугая лошадей и наполняя воздух едким, чуждым запахом бензинового перегара. Это была музыка нового века — громкая, резкая, без мелодии. В лавке Томаса Тредда маятники двигались лениво, словно и металл страдал от этой новой, машинной одышки. Дверь распахнулась с таким грохотом, что дрогнули стёкла в витринах. Вошёл молодой офицер в запylённом мундире колониальных войск. Капитан Эверард. Его лицо было землистого, больного цвета, а руки в потёртых кожаных перчатках заметно дрожали, сжимая тяжёлый предмет, завёрнутый в промасленную холстину.

— Мне сказали, вы понимаете язык мёртвых вещей, — его голос сорвался на хрип, будто он только что кричал в бою. Он швырнул свёрток на прилавок. Холстина развернулась, обнажив хищный блеск воронёной стали.

Это был новенький автоматический пистолет «Браунинг» модели 1903 года. От него пахло оружейным маслом, пороховой гарью и чем-то ещё — резким, металлическим, чуждым. Запахом химической лаборатории, а не оружейной мастерской. — Мой полковник, — выпалил капитан, не в силах сдержать дрожь. — Сэр Джеймс Баркли. Застрелился вчера в своей палатке. Во время чистки оружия. «Случайный выстрел» — говорят протоколы. Но магазин был пуст. Я сам проверял его за минуту до этого. Ни в патроннике, ни в рукоятке — ни одного патрона. Но пистолет выстрелил. И убил. Томас Тредд не прикоснулся к оружию. Он взял его за ствол холщовой тряпкой и положил на верстак, как кладут на операционный стол нечто заразное. Затем достал из-под прилавка не отвёртку, а массивный подковообразный электромагнит, подключённый к батарее. Медленно, словно сканируя, провёл им над затвором, над спусковым крючком, над магазином. Сталь отозвалась. Коротким, едва слышным, но чётким щелчком внутри механизма. — Пустота, капитан, — проскрипел старик, откладывая магнит, — самая удобная форма для лжи. Век машин научил нас верить, что если мы чего-то не видим, то этого не существует. Но отсутствие пули — ещё не значит отсутствие смерти. Он взял длинную, тонкую медную спицу-щуп и осторожно ввёл её в ствол. Спица наткнулась на препятствие гораздо раньше, чем должна была — не у самого патронника, а в середине канала ствола.

— Засор? — спросил капитан, наклонившись.

— Ловушка, — поправил Тредд.

Он закрепил пистолет в слесарных тисках, надел очки с четырёхкратным увеличением и, вооружившись набором ювелирных отвёрток, принялся разбирать затворную группу. Его движения были быстрыми, уверенными, лишёнными сомнений. Когда он снял затворную раму, внутренняя полость возвратной пружины предстала во всей её «славе». Там, в самом сердце механизма, там, где не должно было быть ничего, кроме пружины и направляющих, была аккуратно вмонтирована крошечная ампула из сверхтонкого, почти прозрачного стекла. Она была обвита спиралью из тончайшей вольфрамовой проволоки, концы которой уходили в корпус пистолета.

— Посмотрите сюда, — Тредд указал пинцетом. — Ваш полковник не нажимал на спуск. Его нажал за него вот этот сплав. Капитан Эверард замер, не веря глазам.

— Но... это же химия. В оружии!

— Именно. Это химическая мина с часовым механизмом, — Тредд поднёс деталь к свету газового рожка. Ампула слабо мерцала, словно в ней плескалась ртуть. — Внутри — гремучая

ртуть в летучем растворе-стабилизаторе. Обычно для детонации нужен удар. Но здесь детонатор — тепло. Он ткнул пинцетом в вольфрамовую спираль.

— Тот, кто это сделал, знал привычки полковника. Он был педантом, чистил оружие каждый вечер, совершая ровно двадцать циклов движения затвора вперёд-назад. Сплав вольфрама был рассчитан на определённое количество трений. При каждом движении затвора проволока чуть нагревалась. На десятом, пятнадцатом движении — чуть сильнее. А на двадцатом... — Тредд сделал паузу, дав капитану самому додумать. — Тепло стало достаточным, чтобы... — начал капитан.

— Чтобы стабилизатор испарился, а гремучая ртуть сдетонировала сама по себе, — закончил Тредд. — Пули не было. Но направленная волна газов от крошечного взрыва и осколки самой ампулы и спирали превратили ствол и патронник в гранату. Смерть выглядела как трагическая небрежность — «забыл разрядить». Но это было спланированное, расчётливое убийство с задержкой. Капитан отшатнулся, его спина ударилась о стеллаж, заставив звякнуть ряд карманных часов.

— Значит... убийца был среди нас. Тот, кто имел доступ к его оружейному ящику в казарме.

— Убийца всегда среди нас, капитан, — тихо произнёс Тредд, начиная с мертвенной аккуратностью собирать пистолет обратно, предварительно извлёк смертоносную ампулу. — Просто раньше для этого требовались мускулы и смелость подойти вплотную. Теперь требуются знания по химии и металлургии. И доступ. Это изящнее. И... анонимнее. Можно подбросить такую «игрушку» и быть за тысячу миль, когда сработает таймер в двадцать чисток. Когда капитан Эверард ушёл, унося с собой разобранное оружие и тяжесть доказательства, что война может вестись не только на фронте, Томас Тредд подошёл к верстаку. Он долго смотрел на свои старые, проверенные временем инструменты: напильники, молотки, тиски. Инструменты, которые требовали силы и умения руки.

Потом его взгляд упал на крошечную стеклянную ампулу, лежащую на свинцовой пластине. Она была так мала. И так смертельна.

— Сталь обрела память, — прошептал он в пустоту лавки, где висел запах пороха и кислоты. — Раньше меч был продолжением руки воина. Теперь оружие — это продолжение воли постороннего человека, вложенной в металл и химию и спрятанной внутри пружины. Скоро для расследования убийства нам понадобятся не детективы, а инженеры и химики. И совесть станет ненужным анахронизмом, потому что убийца может даже не знать, на кого именно он нажал на курок.

Вещь: Оружие — это всегда обещание насилия, но автоматика с таймером — это способ нарушить это обещание в самый неподходящий для жертвы и самый удобный для убийцы момент. В мире Томаса Тредда даже пустой магазин может быть полон беззвучной, расчётливой ненависти, если туда вместо патронов вложил её инженер, понимающий, что время и трение — тоже оружие.

Глава 7: Медленный лёд

Декабрь принёс в Лондон не рождественское веселье, а промозглую, липкую сырость, пробирающую до костей. Город готовился встречать новый, 1904 год с той особой, судорожной весёлостью, с какой обречённые цепляются за последний праздник. В витринах Хэрродс уже зажглись первые электрические гирлянды, шипя и потрескивая, пугая лошадей и заставляя прохожих жмуриться от непривычно резкого света.

В лавку Томаса Тредда, где время пахло остывающим чаем, сургучом и старой медью, вошла молодая женщина. Её лицо, должно быть красивое в обычной жизни, сейчас казалось

прозрачным, почти неживым в свете газового рожка. Клара Милтон, дочь владельца шерстяных мануфактур, куталась в дорогую шубку, но озноб, бывший её, был не от уличного холода.

Она бережно, словно раненую птицу, положила на прилавок изящный предмет в кожаном чехле — термос новейшей конструкции от фирмы Рейнхольда Бургера, рекламируемый как «чудо сохранения тепла для зимних прогулок и путешествий».

— Он замораживает жизнь, мистер Тредд, — прошептала она, и её голос дрожал так, будто она сама превращалась в льдинку. — Мой жених, Эдвард Пенроуз, подарил мне его месяц назад. Для зимних прогулок, говорил он. Чтобы я всегда могла согреться горячим бульоном в парке.

Она замолчала, судорожно сглотнув.

— Но каждый раз, когда я пью из него, мне кажется, что зима проникает внутрь меня. Не в тело — в душу. Мои руки немеют, хотя бульон обжигает губы. Я начинаю забывать простые слова, путать имена. Вчера я не смогла узнать собственное лицо в зеркале, мистер Тредд. Смотрела и не понимала — кто эта чужая, бледная женщина?

Клара подняла на старика глаза, полные той особой, тихой паники, которая страшнее любого крика.

— Врачи говорят — малокровие, нервное истощение от предсвадебных хлопот. Но я чувствую. Холод исходит от этой вещи, даже когда она полна кипятка. Я поставила её вчера на ночной столик, не прикасаясь, и мне снились кошмары — будто я лежу в сугробе и не могу пошевелиться, а снег засыпает меня с головой.

Томас Тредд не стал отвинчивать пробку. Он надел тонкие замшевые перчатки, которые использовал для работы с самыми деликатными механизмами, и медленно провёл ладонями вокруг корпуса, не касаясь его. Затем достал из ящика чувствительный электроскоп с золотыми лепестками и поднёс прибор к стальным стенкам.

Золотые лепестки, обычно неподвижные, начали медленно, неохотно расходиться, словно отталкиваемые невидимой силой.

— Тепло — это движение, сударыня, — проскрипел старик, не отрывая взгляда от прибора. — А движение — это жизнь. В новом веке люди научились не только сохранять тепло, но и красть его. Прямо из живой плоти.

Он аккуратно снял кожаный чехол. Под ним обнаружился безупречный стальной корпус, полированный до зеркального блеска. Но Тредда интересовало не зеркало. Он перевернул термос и принялся изучать двойное дно, вооружённый мощной лупой с тройным увеличением.

— Ваш жених, — спросил он, не поднимая глаз, — он случайно не увлекается новейшими достижениями физики? Криогенными экспериментами, сжижением газов?

Клара вздрогнула.

— Он... он состоит в Королевском обществе любителей естествознания. Говорит, что будущее за низкими температурами, что можно будет замораживать людей и возвращать к жизни через сто лет. Я считала это безобидными чудачествами...

— Безобидными, — эхом отозвался Тредд. Он нашёл то, что искал. Под декоративной накладкой на дне термоса скрывался микроскопический лючок, закрытый завинчивающейся крышкой. Тредд открыл его специальным ключом. Внутри, в крошечной капсуле из тончайшего стекла, пульсировала тяжёлая, серебристая жидкость.

— Ртуть, — констатировал он. — Но не просто ртуть. Сжиженный углекислый газ под давлением, смешанный с солями лития. Вся эта конструкция, — он постучал по стенке термоса, — не просто сосуд Дьюара. Это криогенный аккумулятор, работающий наоборот.

Клара смотрела, не понимая, но страх в её глазах рос с каждым словом старика.

— Обычный термос сохраняет тепло за счёт вакуума между стенками, — терпеливо, как на школьном уроке, объяснял Тредд. — Здесь вакуума нет. Вместо него — капиллярная прослойка, заполненная этим составом. При каждом открытии крышки давление внутри этой

прослойки падает, и происходит резкое, мгновенное поглощение тепла. Но не из жидкости, которую вы пьёте, сударыня. Тепло забирается из воздуха вокруг термоса... и из рук, которые его держат.

Он поднёс лупу к кожаной оплётке. Под микроскопическим увеличением стали видны тончайшие, почти невидимые иглы, вмонтированные в кожу со стороны, соприкасающейся с ладонью.

— А это — анестетик местного действия. Прокалывает кожу так незаметно, что вы не чувствуете укола. Он замораживает нервные окончания, и вы перестаёте ощущать настоящий холод. Ваши руки костенеют, кровь отливает от пальцев, поднимается к мозгу — и замерзает там, в прямом смысле. Амнезия, спутанность сознания, галлюцинации — это симптомы кислородного голодания мозга, вызванного спазмом сосудов. Вы не замерзаете заживо, Клара. Вас вымораживают медленно, день за днём, глоток за глотком.

Клара Милтон пошатнулась, схватившись за край прилавка. Её лицо стало совсем белым, как бумага.

— Но... зачем? Мы любим друг друга, мы через месяц должны пожениться...

— Через месяц, — горько усмехнулся Тредд, — вы должны были стать недееспособной пациенткой психиатрической лечебницы с диагнозом «прогрессирующее слабоумие». А ваш жених, скорбящий и заботливый, получил бы полный контроль над вашим приданым. Ваши мануфактуры, ваши земли, ваши счета — всё перешло бы к нему как к законному супругу, имеющему право опеки над недееспособной женой.

Он аккуратно, держа пинцетом, извлёк стеклянную капсулу из дна термоса и положил её на свинцовую пластину.

— Это не убийство в грубом смысле. Это — инженерное решение проблемы наследства. Ваш жених не хотел вашей быстрой смерти, которая привлекла бы внимание. Он хотел вашего медленного, незаметного угасания, которое врачи спишут на нервы, погоду, дурную наследственность. Прогресс, сударыня, дал нам удивительные инструменты. Жаль только, что первыми их осваивают не врачи, а убийцы.

Когда Клара Милтон ушла, шатаясь, прижимая к груди обезвреженный термос как осиротевшую вещь, Томас Тредд долго смотрел на иней, который начал проступать на стальном корпусе прибора, оставленного на прилавке, — в тепле лавки металл плакал холодными слезами. Он вышел на порог, в декабрьскую сырость. Где-то вдалеке, над крышами, взлетали первые рождественские фейерверки — разноцветные искры нового века, такие же обманчиво-тёплые, как и этот термос.

— Скоро, — прошептал он в туман, — мы будем покупать вещи ради тепла, ради уюта, ради заботы. А они будут забирать у нас последние искры жизни, каплю за каплей, градус за градусом. Мы вступаем в век, где холод будет упакован в красивую кожу и дорогую сталь, и люди перестанут чувствовать, как их сердце замедляет бег, превращаясь в ледяной кристалл, пока они пьют «согревающий» напиток из рук того, кто клялся их любить.

Он вернулся в лавку, к своим честным, тёплым, живым часам. Их тиканье согревало лучше любой печки.

Вещь: Термос был создан, чтобы сберегать тепло для тех, кто мёрзнет в пути, но в мире Томаса Тредда он превратился в колодец, высасывающий жизнь через ладони. Прогресс подарил нам власть над температурой, над агрегатными состояниями вещества, но он же научил подлость маскироваться под заботу, превращая самое нежное прикосновение — руку, протягивающей питьё, — в начало смертельного озноба, который не оставляет следов, только пустоту в глазах и холод в костях.

Глава 8: Ртутное зеркало

Октябрь 1904 года вполз в Лондон на брюхе мокрого тумана, смешанного с угольной гарью и химическими испарениями новых заводов. Город задыхался в собственном дыхании, и новые электрические фонари пробивали эту муть резкими, безжалостными лучами, вырывая из темноты лица прохожих и делая их похожими на театральные маски — застывшие, бледные, чужие. В такую погоду особенно остро хотелось верить в то, что видишь в зеркале. Верить, что ты ещё есть, что ты не растворился в этом сером киселе, застилавшем улицы. В лавку Томаса Тредда, где тиканье десятков часов создавало иллюзию порядка в наступающем хаосе, вошла женщина. Она двигалась медленно, словно каждый шаг давался ей с усилием, словно она несла на плечах невидимый, но тяжелый груз. Её вуаль — густая, тёмная, почти траурная — была настолько плотной, что казалась сотканной из самого лондонского тумана, принявшего человеческий облик. Дама остановилась у порога, привыкая к полумраку после уличной мути. Потом, не проронив ни слова приветствия, подошла к прилавку и положила на тёмное сукно предмет, от которого веяло стариной и дороговизной. Это было дамское дорожное зеркальце в тяжёлой серебряной оправе. Чеканка, чернение, изящный вензель на рукояти — такие вещи не покупают, их передают по наследству, в них живёт память поколений. Но Томас Тредд, ещё не коснувшись зеркала, почувствовал неладное. Рукоять была странно массивной, несоразмерно тяжёлой для такого изящного предмета. А от самого зеркала исходил едва уловимый, сладковато-металлический запах — тот особый запах, который бывает в старых физических кабинетах, где хранятся приборы с ртутью.

— Оно показывает не меня, мистер Тредд, — голос женщины дрожал, срываясь на шёпот, но в нём чувствовалась та особенная, аристократическая выучка, которая заставляет держать спину прямой даже на краю гибели. — Леди Беатрис Хардвик. Быть может, вы слышали это имя? Тредд кивнул. Хардвики — старый род, не самые богатые, но с безупречной репутацией. Лошади, благотворительность, консервативная партия. Именно такие семьи и становятся мишенями для тихой, домашней войны, которая не выходит за пределы гостиных.

— Это зеркало передаётся в нашей семье по женской линии три поколения, — продолжала леди Беатрис, не поднимая вуали. — Моя бабка смотрелась в него перед свадьбой, мать — перед моим рождением. Я всегда смотрелась в него перед сном, это был ритуал. Маленькая женская слабость, знаете ли. Убедиться, что ты ещё есть, что время ещё пощадило тебя. Она замолчала, и в тишине лавки стало слышно, как вздрагивает её дыхание.

— А теперь... теперь моё лицо кажется мне чужим. Иссохшим. Состарившимся на десятилетие за одну ночь. Под глазами — тени, которых нет на самом деле. Губы — тонкие, как у старухи. Скулы заострились, кожа приобрела какой-то сероватый, мертвенный оттенок. Она подняла вуаль, и Тредд увидел. Красивое лицо — или то, что от него оставалось. Леди Беатрис была ещё не стара, ей не могло быть больше сорока. Но её кожа действительно имела тот нездоровый, землистый оттенок, какой бывает при хронических отравлениях. Под глазами залегли глубокие, синеватые тени, а в самих глазах застыло то особенное, загнанное выражение, какое бывает у людей, которых преследует их собственное отражение.

— Врачи разводят руками, — сказала она, опуская вуаль обратно. — Трое лучших докторов Лондона. Один говорит об истерии, второй — о нервном истощении, третий — о «женских проблемах». Все советуют морской воздух, покой и поменьше смотреться в зеркала. Ирония, не правда ли? Она судорожно сглотнула.

— Но я слышу, мистер Тредд. Слышу, как зеркало шепчет, когда в комнате гаснет свет. Не слова — просто шёпот, тихое, монотонное шипение, от которого стынет кровь. И запах... этот сладковатый, металлический запах становится сильнее по ночам. Я перестала спать в своей спальне. Переехала в дальнюю комнату. Но зеркало... я взяла его с собой. Оно тянется за мной, как проклятие.

Томас Тредд слушал молча, не перебивая. Его глаза, скрытые за толстыми линзами очков, уже изучали зеркало, сканировали его, искали ту самую деталь, ту единственную неправиль-

ность, которая выдавала подделку под старину. Наконец он заговорил. Его голос, скрипучий, как несмазанная дверная петля, прозвучал в тишине лавки неожиданно громко.

— Зеркала всегда лгут, сударыня, — сказал он, беря в руки тяжёлую оправу. — Это их природа, их профессия. Они показывают нам не то, что есть, а то, что находится перед ними. Они переворачивают мир, меняют правое на левое, делают знакомое — чужим. Но обычно они лгут честно, без злого умысла. Ваше зеркало научили не просто лгать. Его научили красть.

Он не стал смотреться в зеркало. Вместо этого он надел свои рабочие очки с тройными линзами — те, в которых можно было разглядеть микроскопические царапины на рубиновых камнях часовых механизмов. Затем поднёс к амальгаме не глаз, а сильный магнит на длинной латунной рукоятке — один из тех, что он использовал для проверки стальных деталей в хронометрах. Серебряная оправа дрогнула. Но не от магнита. Внутри самого зеркала что-то отозвалось — глухой, едва уловимый стук, будто крошечный молоточек ударил по стеклу изнутри.

— Слышите? — спросил Тредд, хотя по лицу леди Беатрис было видно, что она не слышит ничего, кроме биения собственного сердца. — Там есть жизнь. Металлическая, механическая, но жизнь. Он отложил магнит и взял костяной молоточек, каким обычно простукивал стенки старых сейфов в поисках тайников. Легонько, почти нежно, постучал по стеклу — сначала по центру, потом по краям. Звук был нечистым. У хорошего зеркала, у качественного стекла, звук должен быть звенящим, чистым, как у колокольчика. Здесь же стекло отозвалось глухо, вязко, словно оно было наполнено не пустотой, а тяжелой жидкостью, которая гасила вибрацию.

— Ваше зеркало больно, леди Беатрис, — сказал Тредд, откладывая молоточек. — У него лихорадка. И лихорадка эта — ртутная. Он перевернул зеркальце и принялся изучать оправу. Работа была тонкая, филигранная — настоящий ювелир, делавший эту вещь, знал своё ремесло. Но Тредда интересовало не мастерство, а изъян. И он нашёл его. Там, где серебро соединялось со стеклом, под увеличительным стеклом открылась тончайшая, почти невидимая щель. Не производственный брак — слишком ровная, слишком правильная, слишком искусно замаскированная под естественную состыковку деталей. Такая щель не появляется сама собой — её оставляют. Тредд взял тончайшую стальную иглу, какую используют для чистки засорившихся масляных каналов в хронометрах, и осторожно, с хирургической точностью, ввёл её в щель. Повёл по кругу, ощущая, как игла скользит по чему-то мягкому, пористому, чему не место между стеклом и оправой. Когда он вынул иглу, на самом её кончике блеснула крошечная капля — тяжелая, текучая, серебристая, как расплавленное зеркало.

— Ртуть, — констатировал Тредд, поднося каплю к свету газового рожка. Капля переливалась, жила своей отдельной, ядовитой жизнью. — Но не просто ртуть. С амальгамой здесь всё в порядке, она с другой стороны стекла, там, где должно быть. Это нечто иное. Это добавка. Приправа. Яд. Леди Беатрис судорожно вздохнула, но промолчала. Она смотрела на иглу с каплей так, будто та могла укусить.

Тредд положил зеркальце на специальный столик с подсветкой — низкий, удобный, с мягкими тисочками, удерживающими хрупкие предметы. Он включил лампу, направил свет под разными углами, выбирая наилучший. Потом взял набор тончайших скальпелей и принялся за работу. Он отделял стекло от оправы миллиметр за миллиметром, с той медлительной, почти религиозной тщательностью, с какой реставраторы снимают позднейшие наслоения с древних икон. Одно неверное движение — и стекло треснет, и улика будет уничтожена, и тайна уйдёт обратно в серебро, из которого её извлекли. Леди Беатрис затаила дыхание. В лавке было слышно только тиканье часов и лёгкое поскрипывание инструмента Тредда.

Наконец стекло поддалось. Оно отделилось от оправы с тихим, почти музыкальным звоном, и Тредд увидел.

Между амальгамой и стеклом, в тончайшем, волосяном зазоре, была проложена пористая губка из какого-то органического материала. Не войлок, не шерсть — что-то более тон-

кое, более капиллярное, похожее на прессованный мох, обработанный особым составом. Губка была пропитана тяжелой, маслянистой жидкостью, которая при малейшем движении переливалась ртутным блеском. Но это было не всё.

В самой оправе, в рукояти, скрывался механизм. Миниатюрный, как в карманных часах, но с иной целью. Тонкая пружинка, крошечный клапан и система рычажков, соединённых с декоративным завитком на серебре — тем самым завитком, который при первом взгляде казался просто частью старинного узора.

— Это не просто зеркало, леди Беатрис, — голос Тредда звучал ровно, почти буднично, но в нём чувствовалась та особая, ледяная нота, которая появлялась у старика, когда он сталкивался с особо изощёренной подлостью. — Это химический испаритель. С часовым механизмом. И с температурным спусковым крючком.

Он осторожно, пинцетом, извлёк механизм из рукояти и положил рядом с зеркалом.

— Посмотрите на этот завиток, — сказал он, указывая иглой на декоративный элемент. — Он не просто припаян к оправе. Он подвижен. Вы берёте зеркало в руки, ваша ладонь согревает серебро. Тонкая пластина внутри расширяется, давит на эту пружинку, и клапан приоткрывается ровно настолько, чтобы губка начала испарять свою отраву в микроскопическом зазоре между стеклом и оправой. Он поднёс зеркало к лампе и легонько дунул на него. Почти сразу из микроскопических отверстий в гравировке — тех самых, что казались частью узора — поднялось едва заметное марево, призрачная дымка, тающая в воздухе быстрее, чем глаз успевал её уловить.

— Вы дышите этим, леди Беатрис, — сказал Тредд, откладывая зеркало в сторону, подальше от себя и от клиентки. — Каждый раз, когда смотрите в зеркало, когда любуетесь собой, когда поправляете причёску, когда просто держите его в руках. Ваше дыхание согревает стекло, ваши пальцы согревают рукоять, и яд поднимается прямо в ваше лицо, в ваш нос, в ваши лёгкие, в вашу кровь. Леди Беатрис молчала. Её лицо под вуалью было непроницаемо, но пальцы, вцепившиеся в ридикюль, побелели до костяной прозрачности.

— Это не ртуть в чистом виде, — продолжал Тредд, рассматривая каплю на игле под увеличительным стеклом. — Это смесь. Ртуть, соли таллия и, кажется, немного мышьяка для скорости. Таллий — особый яд. Он накапливается в организме незаметно, месяцами. Сначала — бессонница, кошмары, раздражительность. Потом — провалы в памяти, спутанность сознания, галлюцинации. Затем — выпадение волос, разрушение зубов, паралич конечностей. И только в самом конце — смерть, которую любой врач спишет на «общее истощение» или «быстротечную чахотку». Он отложил иглу и посмотрел прямо на леди Беатрис сквозь три слоя линз.

— Ваша кухня Виктория, кажется, очень торопится стать главной наследницей рода Хардвиков.

Леди Беатрис вздрогнула, будто он ударил её.

— Откуда вы...

— Реставрация, — перебил Тредд. — Вы сказали, что зеркало передаётся в семье три поколения. Оно старое, но выглядит почти новым. Значит, его недавно чистили, правили, обновляли. Кто мог это сделать, кроме близкой родственницы, имеющей доступ к семейным драгоценностям? И кому выгодно ваше тихое, незаметное, «естественное» угасание? Он показал на механизм в рукояти.

— Ваша кухня не хотела вас убивать быстро. Быстрая смерть привлекла бы внимание, вызвала бы подозрения, потребовала бы вскрытия. Она хотела, чтобы вы увядали медленно, год за годом, теряя рассудок и здоровье, пока врачи разводят руками, а родственники вздыхают: «Бедняжка, нервы, тяжёлое наследство, женские болезни...» К весне вы были бы в лечебнице для душевнобольных, а она — полноправной хозяйкой всего, чем владели Хардвики. В лавке воцарилась мёртвая тишина. Даже часы, казалось, затаили дыхание. Леди Беатрис медленно поднялась. Её руки дрожали, но голос, когда она заговорила, был твёрже стали.

— Что мне теперь делать, мистер Тредд?

Старик посмотрел на неё долгим, изучающим взглядом. Потом взял зеркало, механизм, пропитанную ядом губку и положил всё это в свинцовую шкатулку, которую достал из-под прилавка.

— Сначала — лечиться, сударыня. Хороший токсиколог, длительное очищение крови, морской воздух — настоящий, а не тот, что советуют ваши доктора. Потом — навестить кухню. И сказать ей, что ртуть больше не работает. Что вы знаете. И что отныне каждый её шаг будет под присмотром.

Он протянул ей свинцовую шкатулку.

— Это — улика. Спрячьте надёжно. Если с вами что-нибудь случится, эта шкатулка отправится в Скотленд-Ярд. А пока... пусть ваша кухня знает, что её маленький механический секрет раскрыт. Иногда это страшнее любого яда. Леди Беатрис взяла шкатулку, постояла мгновение, глядя на Тредда так, будто видела его впервые. Потом, не сказав ни слова, вышла в лондонский туман, и он сомкнулся за ней, как вода над утопленницей.

Томас Тредд долго стоял у окна, глядя, как мутная взвесь заглатывает силуэт удаляющейся женщины. Потом подошёл к умывальнику и принялся тщательно, с мылом, тереть руки, хотя и не касался отравы голой кожей.

Он поднял глаза на старое, мутноватое зеркало над умывальником. Из глубины стекла на него смотрело усталое лицо с глубокими морщинами и глазами, видевшими слишком много подлости, упакованной в красивую обёртку.

— Раньше яд подавали в кубке на пиру, — пробормотал он своему двойнику. — Это было честно, по-своему. Ты знал, что рискуешь, что враг может быть среди гостей. Теперь яд прячут в красоте, в традиции, в фамильных реликвиях, в самом интимном женском ритуале — вглядывании в собственное лицо. Он покачал головой и отвернулся от зеркала, к своим часам. Они не отражали — они показывали. Просто время, без прикрас, без яда, без скрытых механизмов. Стрелки бежали по циферблатам, отсчитывая минуты жизни, которые становились всё дороже в этом новом, отравленном мире.

— Век нарциссов, — прошептал Тредд в тишину лавки. — Век, где даже собственная красота может стать орудием самоубийства, если кто-то подменил безобидное серебро на расчётливую ненависть, растворённую в ртути и времени. Мы учимся убивать не глядя, не касаясь, не оставляя следов. Мы учимся делать это красиво. А красивая смерть — она самая страшная, потому что на неё никто не смотрит с подозрением.

Вещь: Зеркало — это всегда диалог с самим собой, последний свидетель нашей правды перед сном. Но если в этот диалог вмешивается химия и механика, он становится монологом смерти, записанным на отравленной плёнке. В мире, где прогресс обгоняет мораль, даже любование собственным лицом может стать актом медленного самоуничтожения, если кто-то заменил безобидную амальгаму на расчётливую ненависть, растворённую в ртути и упакованную в фамильное серебро. И самое страшное, что убийца даже не обязан находиться рядом — достаточно, чтобы жертва сама, своими руками, подносила яд к лицу, глядя на собственное отражение и не подозревая, что видит свою смерть.

Глава 9: Золотое эхо

Май 1904 года выдался тревожным. Лондон полнился слухами о новой войне где-то далеко, на востоке, о броненосцах, идущих ко дну, о тысячах солдат, которых никто не видел, но о которых все говорили. Город жил газетами, и в этом газетном шуме тонули отдельные человеческие голоса, становясь просто типографской краской на утренних страницах.

В лавку Томаса Тредда, где время текло медленно, как мёд в зимнем погребе, вошёл человек, от которого пахло дипломатической кожей портфелей, дорогим табаком и той особой, неуловимой тревогой, какая бывает у людей, знающих слишком много. Атташе француз-

ского посольства, месье Дюбуа — изящный, утончённый, с холёными руками пианиста и глазами человека, привыкшего читать между строк. Под мышкой он держал футляр. Не обычный кожаный саквояж, а настоящий ларец, обтянутый тёмно-вишнёвым бархатом с золотым тиснением. Такие футляры делают для вещей, которые дороже денег — для подарков коронованным особам, для дипломатических даров, для произведений искусства, которые нельзя оценить в валюте.

— Мистер Тредд, — месье Дюбуа говорил тихо, с лёгким акцентом, который делал его речь почти музыкальной, — мне сказали, что вы умеете слушать вещи. Не людей — именно вещи. Что вы слышите в них то, что скрыто от других. Томас кивнул, не сводя глаз с футляра.

— Вещи не умеют лгать, месье. Они слишком просты для этого. Лгут люди, которые их создают или изменяют. Моё дело — услышать эту ложь, когда вещь начинает говорить не своим голосом. Месье Дюбуа медленно, почти торжественно, открыл футляр. Внутри, на подушке из белого шёлка, покоилась механическая птица. Золотой соловей — произведение ювелирного искусства, достойное лучших коллекций Европы. Каждое перышко было прочеканено с филигранной точностью, глазки-рубины горели живым огнём, а крошечный клюв был раскрыт в вечной, застывшей песне.

— Подарок кайзера Вильгельма нашему президенту, — тихо сказал Дюбуа. — Знак дружбы, символ культурного обмена, жест доброй воли. Такие вещи принято выставлять на приёмах, заводить при гостях, слушать их механическую музыку. Это производит впечатление. Это смягчает сердца. Это помогает... переговорам. Он замолчал, и в тишине лавки стало слышно, как вздрагивает его дыхание.

— Но она сошла с ума, мистер Тредд. Или я схожу с ума. Каждую полночь, ровно в двенадцать, этот соловей начинает петь сам собой. Без завода, без прикосновения, без видимой причины. Но это не песня, — голос дипломата дрогнул, — это резкий, дребезжащий звук, от которого у присутствующих начинается головная боль, а у дам — истерика. Он достал из жилетного кармана часы-луковицу и положил рядом с футляром.

— Вчера во время приёма, в разгар ужина, соловей не просто запел. Он начал рассказывать. Мы заметили не сразу — сначала подумали, что это игра света. Но ткань скатерти под ним задымилась, месье Тредд. Задымилась! Пришлось тушить водой, как пожар. Посольство полно слухами о проклятии, о дурном глазе, о происках тёмных сил. А я... я должен знать правду. Потому что если это проклятие, то я бессилен. А если это механика — я должен найти того, кто её сломал. Томас Тредд слушал молча, не перебивая. Его руки, узловатые, но всё ещё твёрдые, уже тянулись к инструментам, но он сдерживал себя. Сначала — наблюдение. Потом — анализ. Только потом — вторжение.

Он подошёл к футляру и склонился над соловьём, не касаясь его. Вдохнул воздух рядом с золотым тельцем. Пахло старой смазкой, чуть-чуть озоном — запахом электрических разрядов — и ещё чем-то, едва уловимым, химическим, чуждым.

— Вы пробовали заводить его при мне? — спросил Тредд, не оборачиваясь.

— Нет. Я боялся, что он... взорвётся, — честно признался Дюбуа.

— Не взорвётся, — спокойно ответил старик. — По крайней мере, не сейчас. Заводите. Месье Дюбуа протянул руку, взял соловья, повернул ключик в боку — раз, два, три оборота, как учил когда-то мастер, даривший эту игрушку. Отпустил. Золотая птица ожила. Крошечные крылья затрепетали, клюв открылся, и из него полилась трель — чистая, высокая, удивительно естественная для механизма. Соловей пел, поворачивая головку, сверкая рубиновыми глазами, и казался почти живым. Тредд слушал, закрыв глаза. Не музыку — он слушал механизм. Тиканье шестерёнок, шорох пружины, дыхание воздуха, проходящего через крошечные резонаторы. Песня кончилась так же внезапно, как началась. Соловей замер, склонив головку набок, будто прислушиваясь к чему-то.

— Красиво, — сказал Тредд. — Очень красиво. И очень смертельно. Он взял птицу щипцами с длинными ручками — такими пользуются, чтобы доставать раскалённые детали из кислотных ванн. Не за музыку, не за красоту — за тот неуловимый, металлический холодок, который он почувствовал, когда его пальцы приблизились к золотому тельцу.

— Видите этот шов? — Тредд указал на едва заметную линию, опоясывающую грудку соловья. — У настоящей швейцарской работы таких швов нет. Там всё цельнотянутое, спаянное, но неразъёмное. Здесь же... здесь кто-то был внутри. Кто-то, кто умеет работать с золотом и знает, что такое резонанс.

Он положил птицу на верстак и взял не отвёртку, а небольшой стеклянный цилиндр с железными опилками — простейший прибор для обнаружения электромагнитных полей. Поднёс к соловью. Опилки в цилиндре дрогнули. Медленно, лениво, но дрогнули, выстраиваясь в едва заметные линии.

— Ток, — констатировал Тредд. — Очень слабый, почти незаметный. Но он есть. Внутри этой птицы живёт электричество. Дюбуа побледнел.

— Но там нет батарей. Нет проводов. Это же чистая механика!

— Была, — поправил Тредд. — Теперь это гибрид. Механика плюс физика. Плюс химия. Плюс злой умысел. Он взял тончайший скальпель и начал вскрывать золотое брюшко с той осторожностью, с какой сапёры обезвреживают мины. Каждое движение было выверено, каждое касание — минимально. Внутри, вместо привычных шестерёнок и пружин, открылась сложная конструкция. Миниатюрная катушка индуктивности, намотанная тончайшим проводом. Крошечный конденсатор из слюды и фольги. И — самое страшное — небольшой, плотный брикет сероватого вещества, похожего на спрессованный порошок, обёрнутый в промасленную бумагу.

— Пироксилин, — сказал Тредд, даже не нюхая. Я узнаю этот запах где угодно. Прессованный пироксилин. Достаточно сильная искра — и от вашего соловья останется только воспоминание. Вместе с половиной посольства.

Дюбуа отшатнулся, врезавшись спиной в стеллаж. Часы жалобно звякнули, протестуя против такого обращения.

— Но... как? Почему он не взорвался до сих пор?

— Потому что детонатор, — Тредд указал на катушку, — настроен на строго определённую частоту. Видите эту катушку? Это не просто кусок проволоки. Это резонансный контур. Он принимает сигнал извне. Старик отложил инструменты и посмотрел на дипломата в упор.

— Ваш соловей — не музыкальная шкатулка, месье Дюбуа. Это радиоуправляемая бомба, замаскированная под произведение искусства. Тот, кто его переделал, рассчитал всё точно. Птица поёт, когда её заводят — это усыпляет бдительность. А в полночь, когда в посольстве тихо, когда никто не ждёт опасности, включается приёмник. Он показал на тончайшую спираль внутри катушки.

— Где-то в городе, в пределах нескольких миль, стоит передатчик. Каждую полночь он посылает сигнал на определённой частоте. Этот сигнал улавливается катушкой, создаёт ток, ток нагревает спираль, спираль поджигает пироксилин. Вчера на приёме передатчик включили случайно или намеренно раньше времени. Скатерть задымилась, но до взрыва не дошло — видимо, помешали, залили водой. Но в следующий раз... Он не договорил. Дюбуа и так понял.

— Кто? — спросил дипломат одними губами.

— Тот, кто знал, что птица будет подарена. Тот, кто имел доступ к ней до того, как она попала в посольство. Тот, кому выгодно, чтобы французский президент погиб при загадочных обстоятельствах во время дружественного визита, обставив это как несчастный случай или теракт одиночки. Тредд начал осторожно, с бесконечной осторожностью, извлекать взрывчатку из недр золотого соловья.

— Грядет время, месье Дюбуа, когда смерть будет летать по воздуху, невидимая и неслышимая. Мы больше не хозяева своих дверей. Теперь убийца может войти в дом через радиоволну, через сигнал, который нельзя увидеть, нельзя остановить, нельзя задержать швейцаром у входа.

Он положил брикет пироксилина на свинцовую пластину и накрыл стеклянным колпаком.

— Раньше мы боялись грома и молнии. Думали, это боги гnevаются. Теперь нам стоит бояться тишины, в которой прячется сигнал. Потому что в этой тишине может быть зашифрована смерть. Дюбуа молчал долго. Потом, справившись с голосом, спросил:

— Что мне делать с этим... с птицей?

— Оставьте её здесь, — Тредд кивнул на обезвреженного соловья. — Я выну всё лишнее, восстановлю механизм. Она снова будет петь. Честно, механически, без злого умысла. А вы... вы будете знать, что враг рядом. И что он умеет ждать и умеет маскировать смерть под красоту. Он посмотрел на обезглавленного механического соловья, на его золотые пёрышки, на рубиновые глаза, всё ещё горящие в тусклом свете лавки.

— Знаете, что самое страшное в этой птице? — спросил он вдруг. — Не взрывчатка. Не радиосигнал. Не смерть, которую она несла. Самое страшное — что её должны были подарить с улыбкой, принять с восхищением, поставить на видное место как символ дружбы. И никто, абсолютно никто не заподозрил бы, что за этой дружбой стоит расчёт, за этим восхищением — ненависть, за этой красотой — смерть. Когда месье Дюбуа ушёл, унося пустой футляр и тяжёлое знание, Томас Тредд долго смотрел на обезвреженную птицу. Золото тускло мерцало в свете газового рожка, и в этом мерцании чудилось что-то дьявольское — будто сам Люцифер явился в Лондон под видом певчей пташки.

— Скоро, — прошептал старик, — красивые вещи станут самыми опасными. Потому что красота усыпляет бдительность, а бдительность — единственное, что у нас остаётся в этом мире, где каждый подарок может оказаться миной, а каждая улыбка — прикрытием для смерти, летящей по воздуху со скоростью света. Он взял в руки маленького механического соловья, взвесил на ладони. Лёгкий, изящный, почти невесомый. И смертельный, как гадюка.

— Мы вступаем в век, месье соловей, — сказал он птице, — где убивать будут не кинжалом и не ядом, а сигналом. Где убийца сможет сидеть в кафе через дорогу и нажимать на кнопку, глядя, как взлетает на воздух тот, кого он никогда не видел в лицо. И самое страшное, что мы к этому привыкнем. Мы научимся жить с этим, как живут с шумом трамваев за окном. Мы перестанем замечать смерть, потому что она станет частью пейзажа. Он поставил птицу на полку, рядом с другими, уже обезвреженными вещами, и та замерла в золотом безмолвии, ожидая своей участи — стать просто игрушкой, просто музыкой, просто памятью о том, как близко была смерть.

Вещь: Прогресс сделал расстояние бессмысленным. Теперь, чтобы убить короля, не нужно быть в его дворце. Нужно просто знать частоту его страха и иметь под рукой достаточно красивую безделушку, чтобы эту частоту туда спрятать. В мире Томаса Тредда даже золотая птица может оказаться почтовым голубем апокалипсиса, несущим не весть о мире, а смертоносный заряд, замаскированный под песню. И самое страшное, что песня эта будет звучать красиво — до самого последнего мгновения.

Глава 10: Стальной корсет

Май 1904 года ворвался в Лондон с бесстыдным блеском свежевыкрашенных вывесок, грохотом первых моторизованных кэбов и той особой, лихорадочной суетой, которая всегда предшествует большим переменам. Город молодел на глазах, сбрасывая викторианскую чопорность, как змея сбрасывает старую кожу. Менялись платья, менялись манеры, менялись сами люди — или только казалось, что меняются. В лавку Томаса Тредда, где время пахло мелом,

старой медью и той особенной, устоявшейся тишиной, которая бывает только в местах, где живут часы, вошла женщина. Она вошла не как просительница — как королева, вынужденная спуститься в подземелье, но не теряющая достоинства. Леди Маргарет Эшби, супруга сталелитейного магната сэра Реджинальда Эшби, человека, чьи заводы выплавляли металл для половин британских железных дорог.

Она была прекрасна той холодной, скульптурной красотой, которая не требует улыбок. Высокая, тонкая, с идеальной осанкой, которую только и мог дать корсет новой эпохи — «S-изгиб», модный до безумия, опасный до смерти. Её платье из тёмно-синего шелка шуршало при каждом шаге, и в этом шорохе слышалось что-то змеиное, неживое. Но Томас Тредд, подняв глаза от верстака, увидел другое. Он увидел, как двигается леди Маргарет. Слишком плавно, слишком механически, словно каждое движение давалось ей с усилием, словно внутри неё работал не живой организм, а сложная система рычагов и противовесов. На прилавок, обтянутый потемневшим от времени сукном, лёг футляр. Длинный, узкий, обтянутый тёмно-бордовым бархатом с золотым тиснением — такие футляры делают для особо ценных подарков, для драгоценностей, для вещей, которые должны вызывать восхищение с первого взгляда.

— Откройте, мистер Тредд, — сказала леди Маргарет, и её голос был лишён интонаций настолько, что мог бы принадлежать фонографу. — И скажите мне, что вы видите. Томас медленно, не торопясь, откинул крышку. Внутри, на подушке из белого атласа, покоился корсет. Не обычный, не тот, что шьют портнихи на Бонд-стрит. Это было чудо инженерной мысли — «S-изгиб» последней модели, творение парижских мастеров, которые обещали женщинам идеальную фигуру ценой чего угодно. Тончайший шёлк, изысканное кружево, и внутри — стальные пластины. Не обычные китовые усы, которые гнутся и ломаются, а настоящие, хирургически точные пластины из нового, лёгкого сплава, который рекламировали как «сталь, невесомую, как пух, но прочную, как рыцарские доспехи». Тредд не коснулся корсета. Он просто смотрел на него, и в его глазах за толстыми линзами очков медленно разгорался холодный, аналитический огонь.

— Красивая вещь, — сказал он наконец. — Очень красивая. И очень страшная.

Леди Маргарет не вздрогнула. Она вообще никак не отреагировала на эти слова, словно они были обращены не к ней, словно она была просто стеной, о которую разбиваются чужие голоса.

— Он сжимает не мою талию, Томас, — произнесла она тем же ровным, безжизненным голосом. — Он сжимает мою волю. Она замолчала, и в тишине лавки стало слышно, как тикают десятки часов, отсчитывая секунды её жизни.

— Стоит мне надеть его на вечерний приём, как я перестаю быть собой. Я превращаюсь в послушную куклу. Я соглашаюсь на всё, что предлагает муж. Я подписываю бумаги, не глядя. Я улыбаюсь людям, которых презираю. А к утру ничего не помню. Только тяжесть в груди. Только странный, металлический привкус во рту. И чувство, что меня... не было. Целый вечер меня не было, хотя моё тело присутствовало на всех фотографиях, на всех приёмах, на всех ужинах. Она перевела дыхание — первый признак жизни за всё время разговора.

— Вчера я подписала бумаги о передаче заводов мужа в какой-то новый траст. Я не помню, что там было написано. Я помню только, как перо касалось бумаги, и как корсет... давил. Давил сильнее обычного. Томас Тредд молчал. Его руки уже тянулись к инструментам, но он сдерживал себя, давая женщине выговориться до конца.

— Мой муж говорит, что я стала идеальной женой. Спокойной, покладистой, предсказуемой. Он гордится мной, Томас. Он показывает меня гостям как образец новой женщины — женщины, которая умеет слушать, умеет подчиняться, умеет быть красивой и молчаливой. А я... я боюсь засыпать. Потому что боюсь, что утром проснусь уже совсем другой. Или не проснусь вовсе. Она замолчала и замерла, ожидая приговора. Томас Тредд медленно поднялся из-за верстака. Подошёл к футляру, взял корсет в руки. Вес оказался неожиданным — лёгкий,

почти невесомый, как и обещала реклама. Но в этой лёгкости чудилось что-то неладное, что-то слишком правильное, слишком рассчитанное.

— Красота в этом веке требует не жертв, — сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к леди Маргарет. — Она требует покорности. Мы научились облачать женщину в броню, но забыли, что броня может стать клеткой. А клетка — тюрьмой. А тюрьма — гробом.

Он положил корсет на верстак и взял магнитный щуп — длинную стальную иглу на шарнире, которой обычно проверял балансировку хронометров. Медленно, методично, провёл им вдоль каждой стальной пластины, прислушиваясь не ухом — кончиками пальцев к малейшей вибрации. В районе солнечного сплетения, там, где пластины корсета сходились особенно туго, щуп дрогнул. Не сильно, почти незаметно, но для Тредда этого было достаточно. Он взял стетоскоп — не медицинский, а свой, особый, с усиленной мембраной, способной улавливать самые тихие звуки механизмов. Приложил к тому же месту и замер, закрыв глаза. Из наушников донеслось сухое, ритмичное постукивание. Слишком правильное, чтобы быть естественным. Слишком механическое, чтобы принадлежать телу.

— Там что-то есть, — сказал он, открывая глаза. — Внутри этой пластины. Не просто сталь. Механизм.

Леди Маргарет не шелохнулась. Только пальцы, сжимавшие ридикюль, побелели до прозрачности. Тредд взял тончайший скальпель и начал вскрывать шов. Работа была ювелирной — одно неверное движение, и улика была бы уничтожена, а красивая вещь безнадежно испорчена. Но Тредд работал так, как работал всю жизнь — медленно, уверенно, без права на ошибку. Шёлк разошёлся, обнажив стальную пластину. Но это была не цельная сталь. Внутри пластины, в тщательно высверленной полости, скрывался механизм. Миниатюрный, как в карманных часах, но без циферблата, без стрелок, без какой-либо видимой цели. Только пружина, только система крошечных шестерёнок, только тончайшая игла, выходящая из пластины наружу, в сторону тела.

— Гидравлический иньектор, — прошептал Тредд, и в его голосе впервые за много лет прозвучало нечто похожее на страх. — С таймером. И с резервуаром. Он осторожно, пинцетом, извлёк резервуар — крошечную стеклянную ампулу, впаянную в сталь. Внутри плескалась прозрачная, чуть маслянистая жидкость, которая при покачивании давала странный, голубоватый отсвет.

— Скополамин, — сказал Тредд, даже не нюхая. — «Сыворотка правды». В малых дозах — покорность, внушаемость, потеря воли. В больших — амнезия, кома, смерть. Ваш муж, леди Маргарет, не просто хотел, чтобы вы были покладистой. Он хотел, чтобы вы были идеальной. Идеально послушной. Идеально молчаливой. Идеально пустой внутри. Он показал на механизм, на систему шестерёнок, на тончайшую пружину.

— Смотрите. Это датчик давления. При каждом вашем глубоком вдохе, при каждом волнении, при каждой попытке спорить или возражать, стальные пластины корсета чуть расширяются. Давление возрастает. Пружина сжимается, игла выдвигается — всего на долю миллиметра, незаметно для вас — и вводит микродозу скополамина прямо в кровь, через кожу, через поры.

Он отложил механизм и посмотрел на леди Маргарет в упор.

— Вы не теряете сознание, сударыня. Вы теряете себя. Каждый спор, каждая попытка отстоять своё мнение заканчивается уколom химической покорности. Ваш мозг учится: спорить больно, спорить опасно, спорить бесполезно. Лучше согласиться. Лучше замолчать. Лучше быть куклой. Леди Маргарет молчала. Её лицо было неподвижно, но по щеке, медленно, неохотно, скатилась одна-единственная слеза.

— Три месяца, — сказала она чуть слышно. — Я ношу этот корсет три месяца. Три месяца я была идеальной женой. Три месяца он мной гордился. Три месяца я умирала внутри,

день за днём, укол за уколом, и не понимала, почему. Тредд молчал, давая ей выплакать эту слезу — единственную, на которую она была ещё способна.

— Что теперь? — спросила она наконец, взяв себя в руки с той железной дисциплиной, которую, видимо, не мог уничтожить никакой скополамин.

— Теперь вы будете жить, — просто ответил Тредд. — Я удалю механизм. Зашью шов. Никто не узнает. А ваш муж... ваш муж получит назад свою «идеальную жену». Только теперь идеальной она будет по своей воле. Или не будет вовсе. Он начал осторожно, с хирургической точностью, удалять смертоносную начинку из корсета. Ампулу с ядом положил в свинцовую шкатулку. Механизм — на отдельную полку, в коллекцию улик. Иглу сломал пинцетом, как ломают позвоночник ядовитой змее.

— Век прогресса, — сказал он, не оборачиваясь, — превратил инженерию в способ управления человеческим духом. Раньше мужей-тиранов боялись, потому что они могли ударить или запереть. Теперь их просто не замечают, потому что они научились управлять вами через пружины и химию, через красивые вещи и заботливые слова. Самое страшное, леди Маргарет, что жертва часто даже не понимает, что она — жертва. Ей кажется, что она просто устала, просто смирилась, просто стала взрослее. А на самом деле её просто... выключили.

Когда леди Маргарет ушла, унося обезвреженный корсет и странное, новое чувство — чувство возвращённой себя, Томас Тредд долго стоял у окна, глядя на суетливую лондонскую улицу. Мимо проходили женщины в модных платьях, с осиными талиями, с гордой осанкой. И ни одна из них не знала, что, возможно, внутри их корсетов, под шелками и кружевами, прячется та же смертельная начинка.

— Скоро, — прошептал он в стекло, — мы все будем носить невидимые корсеты. Не стальные — социальные, экономические, химические. Корсеты, которые будут решать за нас, о чём нам думать, чего хотеть, кого любить. И большинство даже не заметит, что они в клетке, потому что клетка будет красивой, удобной и модной. Он вернулся к верстаку, где в луче газа поблёскивала ампула со скополомином — маленькая, невинная, смертельная.

— Настаёт время, — сказал он пустоте, — когда свобода станет просто словом в старом словаре. А реальность будет диктоваться натяжением стальной нити и каплей химии, растворённой в крови. И самое страшное, что мы к этому придём добровольно, надевая красивые вещи, которые нам дарят любящие руки.

Вещь: Корсет был создан, чтобы придавать телу желанную форму, чтобы делать женщину красивее, изящнее, желаннее. Но в мире Томаса Тредда он стал инструментом для создания идеальной рабыни — послушной, молчаливой, безвольной. Прогресс подарил нам новые сплавы, новые лекарства, новые способы влиять на человеческое тело. Но он же научил тиранию прятаться в изгибах моды, в складках шёлка, в улыбках заботливых мужей. И теперь, чтобы сломать человека, не нужна тюрьма. Достаточно красивого корсета, немного химии и трёх месяцев терпения. Жертва ломает себя сама, день за днём, укол за уколом, и будет благодарна за эту ломку. Потому что станет идеальной. Идеально пустой. Идеально мёртвой внутри — при живом-то теле.

Глава 11: Стеклянная жажда

Июль 1904 года обрушился на Лондон не просто жарой — он накрыл город раскалённым, тяжелым колпаком, сквозь который не пробивалось даже дыхание ветра с Темзы. Река, обычно спасительная в летний зной, теперь сама казалась раскалённой полосой свинца, от которой поднималось влажное, удушливое марево, смешанное с запахом гниющей рыбы и машинного масла. Воздух стоял. Он не двигался, не колебался, он просто висел — плотный, вязкий, как старое желе, пропитанный гарью первых бензиновых моторов и вонью перегретого асфальта, который начали укладывать на центральных улицах, заливая булыжные мостовые

чёрной, дышащей жаром массой. В такую погоду нормальные люди сидели по домам, опустив шторы и прикладывая ко лбу мокрые полотенца. В такую погоду только сумасшедшие или отчаявшиеся выходили на улицу. Или те, чья беда была сильнее жары. Лорд Сесил Мелбри не был сумасшедшим. Он был отчаявшимся. До такой степени отчаявшимся, что готов был тащиться через весь раскалённый Лондон в лавку какого-то старого часовщика, о котором говорили странные вещи — будто он слышит голоса вещей, будто он видит то, что скрыто от обычных глаз, будто он может вытащить правду оттуда, где её быть не может. В лавку Томаса Тредда лорд Сесил ввалился, а не вошёл. Дверной колокольчик звякнул жалобно, будто и ему было невыносимо жарко. Сам лорд, обычно элегантный и подтянутый, сейчас представлял собой жалкое зрелище: дорогой льняной костюм помят и пропитан потом, воротничок расстегнут, галстук съехал набок, а лицо — красивое, породистое лицо молодого аристократа — было серым, измождённым, с лихорадочным блеском в глазах и неестественно ярким, болезненным румянцем на скулах.

— Воды, — выдохнул он, хватая ртом воздух. — Ради бога, воды. Томас Тредд молча налил из кувшина стакан, подал. Лорд Сесил схватил, выпил залпом, не чувствуя вкуса, и тут же скривился, будто вместо воды ему дали уксус.

— Ещё, — прохрипел он. Тредд налил ещё. И ещё. Лорд Сесил пил, как загнанная лошадь, как человек, который только что пересёк пустыню и не верит, что добрался до оазиса. Пять стаканов. Один за другим. И только после пятого откинулся на спинку стула, закрыл глаза и замер, тяжело дыша. Томас смотрел на него не отрываясь. Он не задавал вопросов, не предлагал помощи. Он просто смотрел и ждал, когда гость сам заговорит. Терпение было главным инструментом в его ремесле. Наконец лорд Сесил открыл глаза. В них стояло такое отчаяние, что даже Тредд, видавший всякое, внутренне содрогнулся.

— Я умираю от жажды, Томас, — сказал лорд Сесил, и голос его, обычно звучный и уверенный, теперь напоминал шелест сухого пергамента. — Врачи говорят — сахарная болезнь. Говорят — нервное истощение. Говорят — жара, возраст, проклятие рода Мелбри. Только одно они не могут объяснить. Он замолчал, собираясь с силами.

— Жажда нападает на меня только тогда, когда я пью из этой фляги.

На прилавок лёг предмет, обёрнутый в кусок замши. Лорд Сесил развернул ткань медленно, почти торжественно, будто показывал не вещь, а улику с места убийства. Это была походная фляга. Дорогая, очень дорогая — таких в Лондоне были единицы. Корпус из чеканного серебра, обтянутый кожей каймана с идеальным, геометрически правильным рисунком. Пробка — массивная, из того же серебра, увенчанная огранённым кристаллом горного хрусталя размером с голубиное яйцо. Такие вещи не покупают в обычных магазинах. Их заказывают у лучших ювелиров, подолгу выбирают дизайн, ждут месяцами, чтобы получить эксклюзивную вещь, которой можно хвастаться перед друзьями на охоте или на скачках.

— Подарок моей невесты, — сказал лорд Сесил, и в его голосе не было тепла. — Леди Эвелин Кроуфорд. К началу охотничьего сезона. Она сказала, что хочет, чтобы я всегда помнил о ней, когда буду вдали от дома. Чтобы каждый глоток воды напоминал мне о её заботе. Он горько усмехнулся.

— Я и помню, Томас. Каждый глоток. Только не о заботе — о смерти. Он провёл языком по пересохшим губам, облизнул их, но это не помогло — через секунду они снова стали сухими, потрескавшимися, почти как у мумии.

— Стоит мне сделать глоток из этой фляги, через минуту рот превращается в пустыню. Язык распухает, горло пересыхает так, что невозможно проглотить слюну. Сердце начинает колотиться, как бешеное, в висках стучит, в глазах темнеет. Я пью снова, думая, что вода была слишком холодной или слишком тёплой, что это просто реакция организма на жару. Но становится только хуже. С каждым глотком — хуже. Он замолчал, переводя дыхание. Руки его дрожали — мелкой, непрерывной дрожью, которую он не мог остановить.

— Вчера я выпил почти всю флягу за час. Целый литр воды, Томас. Целый литр! И к вечеру меня вырвало желчью, я потерял сознание, и слуги нашли меня в гардеробной с пеной на губах. Врач сказал — солнечный удар. Перегрелся, мол, на скачках. А я даже не был на скачках. Я сидел дома, в прохладной гостиной, и пил воду из этой чёртовой фляги! Он вскочил, заметался по лавке, заставив звенеть карманные часы на стеллажах.

— Я не пью ни из чего другого! Только из неё! Потому что боюсь, что если перестану, то сойду с ума от жажды. И если это продолжится, я действительно сойду с ума. Или умру. И никто — слышите, никто! — не сможет объяснить почему. Он остановился перед Треддом, тяжело дыша, и посмотрел на старика почти с мольбой.

— Скажите мне, что это я схожу с ума. Что это моя болезнь, моя наследственность, мои нервы. Скажите, что фляга здесь ни при чём. И я поверю. Мне нужно, чтобы кто-то сказал мне, что я не жертва заговора, что моя невеста не хочет моей смерти, что мир не сошёл с ума окончательно.

Томас Тредд молчал долго. Так долго, что тишина в лавке стала почти осязаемой, плотной, как июльский воздух снаружи. Часы тикали, отсчитывая секунды, и каждая секунда была тяжелее предыдущей. Потом он медленно поднялся, подошёл к фляге и взял её в руки. Не для того, чтобы рассмотреть — он уже видел достаточно. Он взял её, чтобы почувствовать. Вес, баланс, тепло, которое она впитала от ладоней лорда Сесила.

— Вода — это жизнь, милорд, — сказал он наконец, и голос его был сухим, как песок в часах-десятиминутках. — Самая чистая, самая простая, самая необходимая вещь на земле. Без неё нет ничего. Но человек, который научился плавить сталь и обуздывать электричество, научился и другому. Он научился превращать в яд даже само утоление нужды. Он поднёс флягу к уху и легонько постучал по корпусу. Звук был не звонким, как должно быть у серебра, а глуховатым, с каким-то странным, внутренним эхом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.